

ВЕТРА СУДЬБЫ

СОЛЯНАЯ ТРОПА



Иван Поддубный

Ветра судьбы. Соляная тропа

«Автор»

2026

Поддубный И.

Ветра судьбы. Соляная тропа / И. Поддубный — «Автор», 2026

Что делать, когда тебе под шестьдесят, жена умерла, дети забыли твой номер телефона, а смысл жизни растворился в банке тёплого пива? Григорий Ткач не знал ответа на этот вопрос — пока в его руках не оказалась старая карта, нарисованная слепым картографом. Карта, которая пахнет солью, пульсирует теплом и однажды вспыхивает, унося его в мир, где нет ничего, кроме бескрайней белой пустыни. Солончак — мир, где вода дороже золота, а каждая капля на счету. Здесь Григорий, бывший дальнбойщик, становится Проводником — тем, кто чувствует подземные родники, читает маршруты по звёздам и ведёт караваны через смертельно опасные Соляные Столбы. Здесь он из никому не нужного старика превращается в спасителя, мужа, отца и легенду. А потом возвращается обратно — через полчаса по земным часам, но с двадцатью годами иной жизни за плечами. «Ветра Судьбы: Соляная тропа» — книга о том, что дорога всегда ждёт. Что каждый может стать Проводником — для других и для себя.

© Поддубный И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пустая квартира.	5
Глава 2. Блошиный рынок.	9
Глава 3. Дом.	15
Глава 4. Белое безмолвие.	19
Глава 5. Вода.	24
Глава 6. Караван.	30
Глава 7. Чужак.	34
Глава 8. Карта.	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Иван Поддубный

Ветра судьбы. Соляная тропа

Глава 1. Пустая квартира.

Тишина в квартире стояла такая плотная, что, казалось, ею можно было захлебнуться. Она не была пустой — пустота подразумевает отсутствие, а здесь присутствовало нечто густое, вязкое, сотканное из многолетней пыли, невысказанных слов и застарелой боли. Эта тишина имела слои. Первый, самый поверхностный — привычный гул холодильника, который иногда прерывался надсадным, дребезжащим хрипом компрессора: старый «Минск» доживал последние годы, как и его хозяин. Второй слой — монотонное, едва слышное гудение лампы дневного света на кухне, которую Григорий забывал выключать сутками. Третий, самый глубокий и страшный — это абсолютная, могильная тишина человеческого жилья, из которого ушли смех, разговоры и смысл.

Григорий Ткач сидел в продавленном кресле, обитом вытертым велюром цвета выцветшего баклажана. Кресло помнило его тело, приняло его форму, как старый, верный друг, и отвечало на каждое движение скрипом пружин. В руке, уже привычно липкой от конденсата, грелась банка дешевого пива — «Жигулевское», которое он брал в ларьке у метро, всегда ящиком, чтобы не ходить лишний раз. Пиво было пятой банкой за вечер, а может, и шестой — он сбился со счета, да и не важно это было. На вкус оно напоминало разбавленную мочу с металлическим послевкусием, но Григорий давно перестал замечать это. Пиво было не напитком, а ритуалом. Способом заполнить пустоту между пробуждением и забытием. Лекарством, которое не лечило, но притупляло.

Напротив, на стене, оклеенной выцветшими обоями в мелкий, когда-то золотистый, а теперь бурый цветочек, висела карта. Это была не просто карта, а целое полотнище — административная карта Советского Союза издания 1987 года, размером два на полтора метра. Ее края, истрепанные и пожелтевшие, были пришпилены к обоям канцелярскими кнопками с разноцветными пластмассовыми шляпками. Карта была живая. Вся она была исчерчена тонкими линиями — красными, синими, черными, — которые змеились от Мурманска до Кушки, от Бреста до Владивостока. Это была летопись его жизни, написанная не чернилами, а километрами.

Вот красный пунктир от Москвы до Иркутска. Тот самый рейс, когда у него сломалась печка, а на улице было минус сорок, и он гнал машину, закутавшись в два тулупа, как полярник, и пел песни Высоцкого, чтобы не заснуть. Вот синий кружочек у Новосибирска — там он познакомился с Леной. Она работала диспетчером на автобазе, и у нее был смех, похожий на звон маленьких колокольчиков. Он тогда привез груз мандаринов к Новому году, и она, увидев его, чумазого и уставшего, угостила горячим чаем из термоса. Чай был сладкий, с лимоном, и пах какими-то невероятными духами. Они расписались через три месяца. Карта хранила и этот маршрут — жирная, радостная черная линия, которую он провел, когда вернулся домой с молодой женой.

Григорий сделал глоток. Пиво было теплым, но он не чувствовал вкуса. Он смотрел на карту, и воспоминания, как старая киноплёнка, прокручивались перед глазами. Вот желтая линия на Ташкент — туда он возил трубы для газопровода. Адская жара, пыль, скрип песка

на зубах, но какая там была дыня! Сладкая, как мед, тающая во рту. Он привез тогда две дыни домой, и Лена смеялась, разрезая их на кухне. Сок тек по ее пальцам, и он целовал эти пальцы, сладкие и пахнувшие солнцем.

А вот и последний маршрут. Тонкая, неуверенная линия карандашом — до Казани и обратно. Он нанес ее уже после того, как продал фуру, чтобы заплатить за химиотерапию. Лена тогда уже почти не вставала. Он помнил, как вернулся из того рейса, зашел в спальню, и она, увидев его, попыталась улыбнуться. «Гриша, — прошелестела она, — ты привез мне чего-нибудь?» А он забыл. Забыл купить ей хотя бы шоколадку. Он так спешил домой, так боялся опоздать, что думал только о дороге. И когда он стоял у ее кровати, сжимая в руках пустые руки, она сказала: «Ничего. Главное, что ты приехал». А через две недели ее не стало.

Сын и дочь приехали на похороны. Маша, беременная вторым, на восьмом месяце, плакала, уткнувшись в плечо мужа. Дима стоял с каменным лицом. Он был так похож на Григория в молодости — тот же упрямый подбородок, тот же тяжелый взгляд исподлобья. Но между ними была пропасть. Григорий так и не смог понять, когда и почему она образовалась. Может, когда он пропустил его выпускной в школе, потому что застрял в рейсе под Уфой. Может, когда не одобрил его выбор профессии — «программист, что это за мужицкая работа?». А может, просто потому, что они оба были слишком похожи — замкнутые, упрямые, не умеющие говорить о чувствах.

Теперь они звонили редко. Раз в месяц раздавался звонок от Маши. Она спрашивала дежурным, усталым голосом: «Пап, как ты? Давление мерил? Ел чего-нибудь горячее?» Он отвечал бодрым, фальшивым голосом: «Все хорошо, доча, не переживай». И она не переживала. Клала трубку и возвращалась в свою жизнь, где были школа, кружки, муж, ипотека и двое детей. Дима не звонил вообще. Только раз в год, на день рождения, присылал короткое смс: «С днем рождения. Здоровья». И подпись — «Дима». Даже не «сын».

Григорий смял пустую банку. Жесть жалобно хрустнула. Он бросил ее на пол, к остальным. В комнате пахло пивом, пылью и старостью. Он посмотрел на свои руки. Когда-то они были сильными — настоящие руки шофера, с вьевающимся в поры мазутом, с мозолями от руля, с обломанными ногтями. Теперь это были руки старика. Кожа дряблая, с пигментными пятнами. Пальцы узловатые, скрюченные артритом. Он с трудом сжимал их в кулак.

Тишина снова навалилась на него, как тяжелое одеяло. Телевизор бормотал что-то о росте цен и политических скандалах. На экране мелькали лица — сытые, самодовольные, озабоченные. Они кричали друг на друга, размахивали руками, и их беззвучные крики (звук был выкручен почти до нуля) казались дикой, бессмысленной пантомимой. Григорий вдруг остро, до физической боли, ощутил свою ненужность. Он был как старая, отслужившая свое деталь от грузовика, которую сняли и бросили ржаветь в углу гаража. Мир жил своей жизнью, а он — своей. И эти две жизни никак не пересекались.

Единственное, что еще вызывало слабый, едва тлеющий отблеск интереса — это атласы. Карты. Путеводители. Стопка их лежала на журнальном столике, рядом с пультом от телевизора и горкой арахисовой шелухи. Атлас автомобильных дорог России. Атлас мира, подаренный еще Леной на двадцатилетие свадьбы. Путеводитель по Золотому кольцу, весь в закладках. Он мог часами листать их, водя пальцем по линиям дорог, вспоминая или придумывая маршруты. Это было единственное, что напоминало ему о том времени, когда он был жив. Когда он был нужен.

Завтра воскресенье. Можно съездить на блошинный рынок у стадиона. Там, среди развалов старого хлама, торговал старик по прозвищу Рудый. У него был странный, бегающий взгляд, бельмо на левом глазу и цепкие, как у птицы, пальцы. Он продавал антикварные карты, глобусы, старые лоции. Григорий любил заходить к нему. Рудый всегда знал что-то, чего не знали другие, и иногда подсовывал настоящие сокровища. Например, прошлой весной он продал Григорию карту Тихого океана с путями капитана Кука. Григорий тогда провел с ней целый вечер, словно сам стоял на капитанском мостике, ощущая соленые брызги на лице.

Он тяжело поднялся с кресла. Суставы хрустнули — сначала колени, потом спина. Этот звук, как звук трескающегося льда, уже не пугал его. Он прошел на кухню, открыл кран. Из крана с шипением потекла ржавая вода. Григорий подождал, пока она станет прозрачной, набрал в ладони и плеснул в лицо. Холодная вода немного взбодрила. Он поднял глаза и увидел себя в отражении темного кухонного окна. Из стекла на него смотрел старик. Глубокие залысины, седые, давно не стриженные волосы, всклокоченная борода. Мешки под глазами, похожие на грязные тряпки. Желтоватые белки. Он не узнавал себя. Когда-то давно из этого окна смотрел мужчина в самом расцвете сил. Куда он делся? Когда растворился в пиве, тишине и телевизоре?

Он вытер лицо вафельным полотенцем, висевшим на гвоздике уже, наверное, год, и пошел в коридор. Там, на вешалке, висела его старая кожаная куртка — еще с тех, дальнобойщицких времен. Кожа потрескалась, подкладка протерлась, но куртка все еще хранила запах дороги. Запах бензина, табака и бесконечной, как жизнь, трассы. Он провел по ней рукой, и на мгновение ему показалось, что он слышит гул мотора.

— Завтра, — сказал он вслух самому себе. — Схожу к Рудому. Хоть какое-то развлечение.

Голос его прозвучал глухо и хрипло. Он давно ни с кем не разговаривал. Только с телевизором да с самим собой. Иногда ему казалось, что если он закричит сейчас в голос, то никто не услышит. Соседи? Какие соседи? Он даже не знал, кто живет за стеной. Старый дом, старые люди, которые так же, как и он, доживали свой век, запершись в своих скорлупах. Он мог бы умереть прямо сейчас, и его нашли бы только через месяц, когда трупный запах начал бы просачиваться в подъезд.

Григорий вернулся в кресло. Банки на полу поблескивали в свете уличного фонаря, как маленькие серебристые гробики. Он не стал включать свет. Так было лучше. В темноте легче было представить, что он не в пыльной московской квартире, а в кабине грузовика. Что за окном не серые панельные многоэтажки, а бескрайняя, убегающая за горизонт степь. Что впереди — тысячи километров пути, а сзади — дом, в котором его ждут.

Он закрыл глаза. Перед внутренним взором всплыла карта. Та самая, на стене. Он знал на ней каждую линию, каждый перекресток. Он мысленно проехал по маршруту Москва-Волгоград. Вот поворот на Тамбов, где он всегда останавливался у одной и той же шашлычной. Вот мост через Дон, где они с напарником Васькой однажды ночью меняли колесо под проливным дождем, матерясь и хохоча. Вот и сам Волгоград — раскинувшийся вдоль реки, величественный и суровый.

Сердце сжалось от тоски. Тоски не по месту, а по состоянию. Состоянию движения. Состоянию нужности. Когда он вел грузовик, он был частью огромной, живой системы. Он вез то, что нужно людям. Еду, лекарства, стройматериалы, одежду. Он был важным звеном. А теперь он просто сидит в кресле и пьет пиво.

Он открыл глаза и снова уставился на телевизор. Там шла реклама какого-то средства от всех болезней. Улыбчивые пенсионеры, бодрые и загорелые, бегали по парку и пили таблетки. Врут. Все врут. Никакая таблетка не спасет от пустоты. От одиночества. От тишины.

Григорий потянулся за следующей банкой, но рука замерла на полпути. Он вдруг почувствовал странную, едва уловимую перемену. Как будто где-то в глубине квартиры скрипнула половица. Нет, показалось. Просто дом старый, усаживается. Он откупорил банку. Пиво с противным шипением вырвалось наружу. Он сделал глоток. Теплое. Гадость.

Завтра он поедет к Рудому. Купит какую-нибудь карту. Будет весь вечер рассматривать ее, представляя, что он там, в горах Тянь-Шаня или в пустынях Гоби. Это было его единственное, жалкое, но все же развлечение. Его способ убежать из этой квартиры, из этого тела, из этой жизни. Способ почувствовать себя не ненужным стариком, а путешественником, исследователем, первооткрывателем. Человеком, у которого есть цель и маршрут.

Он допил пиво, бросил банку в общую кучу и тяжело вздохнул. Пружины кресла жалобно скрипнули, словно сочувствуя ему. За окном, в свете фонаря, кружились редкие снежинки. Первый снег в этом году. Григорий смотрел на их медленный, завораживающий танец и думал о том, что жизнь, в сущности, очень простая штука. Ты рождаешься, живешь, работаешь, растишь детей, а потом сидишь один в пустой квартире и смотришь, как падает снег. И это все. Конец маршрута. Дальше только гараж и вечная стоянка.

Он и не подозревал, что это была только ночь перед самым длинным, самым опасным и самым важным рейсом в его жизни. Что старая карта, которая ждала его на пыльном прилавке блошиного рынка, — это не просто лист бумаги, а билет. Билет в мир, где он снова станет нужным. Где он вспомнит, что значит жить. Где он найдет любовь, потеряет друзей, станет легендой и умрет, глядя на звезды, чтобы снова проснуться в этом кресле с пониманием, ради чего все это было.

Но пока он этого не знал. Пока он был просто Григорий Ткач. Пятьдесят восемь лет. Вдовец. Пенсионер. Человек, который завтра поедет на блошинный рынок, чтобы хоть на пару часов сбежать от тишины, которая медленно, но верно пожирала его изнутри.

Глава 2. Блошиный рынок.

Утро воскресенья выдалось таким, какими обычно бывают ноябрьские утра в Москве — серым, промозглым и безнадежно тоскливым. Небо, затянутое низкими, слоистыми облаками, висело так низко, что, казалось, до него можно дотянуться рукой, если выйти на балкон последнего этажа хрущёвки. Моросил мелкий, противный дождь — не ливень, а именно та водяная пыль, которая умудряется проникать за шиворот, в рукава, в самые неподходящие места, оставляя после себя ощущение липкой, зябкой сырости. Асфальт во дворе блестел, отражая мутные лужи, в которых плавали окурки и прошлогодние листья, похожие на сморщенные ладошки утопленников.

Григорий проснулся рано, по привычке, выработанной десятилетиями. Когда-то «рано» означало пять утра, проверка масла и тосола, прогрев двигателя перед дальним рейсом. Теперь «рано» означало просто пробуждение без будильника, в семь, с гулкой, ноющей пустотой в желудке и свинцовой тяжестью в голове — наследием вчерашнего пива. Он полежал немного, глядя в потолок, где по углам расплзлись желтые разводы от давнего потопы (соседи сверху, вечно пьяные, заливали его трижды, и он давно махнул рукой на ремонт), и заставил себя подняться.

Тело слушалось неохотно. Суставы скрипели и ныли, как несмазанные дверные петли. Григорий покрутил головой, разминая шею, и услышал характерный хруст позвонков — звук, который всегда напоминал ему о возрасте. Он прошлёпал босыми ногами на кухню, поставил на плиту старый, закопчённый чайник. Пока вода закипала, он стоял у окна, смотрел на серый двор, на старую «девятку» с проржавевшими порогами, вечно припаркованную на газоне, на стайку голубей, жавшихся к вентиляционной трубе, и думал о том, что все эти вещи, вид из окна, звук закипающего чайника, вкус дешёвой заварки — это весь его мир. Мир, который сжался до размеров квартиры и маршрута до ларька за пивом.

Чай он пил долго, обжигаясь, держа гранёный стакан в потемневшем подстаканнике — ещё один артефакт из прошлой, железнодорожной жизни его отца. Чай был горький, чёрный как дёготь. Григорий не любил сладкий. Сладкий чай ему всегда делала Лена, принося в постель по выходным. «Пей, Гриша, сахар для мозгов полезен», — говорила она, улыбаясь. Теперь он пил горький. Назло. Или в память. Он и сам не мог разобрать.

Одевался он основательно, по-стариковски. Тёплое бельё, фланелевая рубашка в клетку, шерстяной свитер с заштопанными локтями, те самые брюки, которые он носил уже лет десять, и старая кожаная куртка, потемневшая от времени и дождей, с потёртостями на плечах. Куртка всё ещё хранила слабый, едва уловимый запах машинного масла и табака. Запах его настоящей жизни. Он застегнул молнию, натянул кепку — старую, с потёртым логотипом КамАЗа — и вышел в подъезд.

В подъезде пахло кошками, сырой штукатуркой и дешёвым дезодорантом, который, видимо, щедро распылял на лестничной клетке кто-то из соседей-подростков. Лифт не работал — как обычно. Григорий спустился пешком, держась за шаткие перила. Каждая ступенька отдавалась глухой болью в коленях. «Старая развалина», — пробормотал он себе под нос и тут же усмехнулся. К кому это относилось — к лестнице или к нему самому?

До стадиона, где раскинулся блошинный рынок, он доехал на автобусе. В транспорте было полупусто. Заспанные лица, уткнувшиеся в телефоны. Молодёжь в наушниках, отрешённая и далёкая, как жители другой планеты. Григорий смотрел на них и думал: понимают ли они, что тоже когда-нибудь будут старыми? Что их лайки, подписчики, сериалы — всё это обратится в пыль, и останутся только они сами и тишина пустой квартиры? Нет, не понимают. И хорошо. Незачем им это понимать.

Рынок уже гудел. Этот звук Григорий узнал бы из тысячи — многоголосый, хаотичный, живой гул, который складывается из сотен разговоров, споров, криков торговцев, смеха, музыки, льющейся из потёртых магнитол, лая собак и шарканья сотен ног по асфальту. Он сошёл с автобуса, пересёк дорогу и нырнул под арку, ведущую к стадиону.

Блошинный рынок представлял собой зрелище, которое могло бы вдохновить художника-сюрреалиста. На огромной, вытопанной до состояния бетона площадке, примыкавшей к задней стене стадиона, раскинулся целый город. Город, построенный не из кирпича и бетона, а из хлама. Ряды самодельных прилавков — кто-то разложил товар на раскладных столах, кто-то на кусках брезента прямо на земле, кто-то торговал из багажника старого «Москвича». Между рядами, закутанные в бесформенные куртки, шарфы и платки, бродили люди. В основном такие же старики, как и он сам, но попадались и молодёжь — охотники за винтажем, хипстеры в нелепых шапках, ищущие пластинки или старые фотоаппараты.

Пахло всем сразу. Этот запах был особенным, ни с чем не сравнимым ароматом блошиного рынка. Жареные пирожки с ливером — их продавала толстая тётка в засаленном фартуке, и аромат горячего масла и подгоревшего лука перебивал все остальные. Запах старых книг — сладковатый, тленный, с нотками плесени и клея. Запах металла — ржавых гвоздей, инструментов, деталей от неизвестных механизмов. Запах нафталина от старой одежды, которую выставили на продажу. Запах дешёвого табака — кто-то курил «Беломор», и его терпкий, удушливый дым плыл над толпой. И надо всем этим — вездесущий запах сырой земли и прелой листвы, напоминавший о том, что осень уже вступила в свои права.

Григорий медленно двинулся вдоль рядов. Он скользил взглядом по разложенному богатству, и в душе его поднималась странная смесь тоски и иронии. Фарфоровые статуэтки балерин и пастушек с отбитыми пальцами. Кому они были нужны? Кто ставил их на сервант и смахивал с них пыль? Где теперь эти люди? Пластинки — Высоцкий, «Битлз», Пугачёва — в потрёпанных, надорванных конвертах. Чьи голоса звучали под этим виниловым шорохом? Кто танцевал под эту музыку, кто влюблялся, кто плакал? Советские значки, ордена, медали — целые россыпи чужой славы, чужой доблести, которые теперь продавались по десять рублей за штуку. Старые фотоаппараты «Зенит» с заклинившими затворами. Керосиновые лампы. Чугунные утюги. Самовары без кранов. Всё это были не вещи. Это были фрагменты разрушенных жизней, материальные свидетельства того, что кто-то жил, дышал, радовался, страдал, а теперь от всего этого осталась только куча хлама на блошином рынке. И сам он, Григорий Ткач, был таким же фрагментом. Осколком эпохи, который вынесли на продажу, но никто не покупает.

Он подошёл к прилавку, где были разложены старые книги. Продавец, лысый мужчина в очках с толстыми линзами, дремал на складном стуле. Григорий полистал потрёпанный том «Трёх мушкетёров» с оторванным корешком, вздохнул и пошёл дальше. Он искал Рудого.

Рудый обитал в самом дальнем, самом непопулярном углу рынка, у кирпичной стены, увитой мёртвым, жухлым плющом. Покупатели сюда забредали редко — место было неудобное, тенистое и сырое. Но именно здесь, в этой тишине, и располагалось царство старых карт.

Старик, как всегда, сидел на низком складном стульчике, закутавшись в вытертый, выдавший виды армейский бушлат. На голове у него была старая, вязаная шапка-петушок, надвинутая на самые брови. Бельмо на левом глазу, мутное и жемчужно-серое, казалось, жило своей, отдельной жизнью. Оно смотрело всегда чуть в сторону, в то время как здоровый, правый глаз — тёмный, острый, не по-стариковски живой — пронзительно и цепко осматривал пространство. Лицо Рудого было изрезано глубокими, словно трещины в коре старого дуба, морщинами. Нос, длинный и тонкий, загибался книзу, как клюв хищной птицы. Руки, с узловатыми, распухшими суставами, лежали на коленях, но в них чувствовалась странная, нервная энергия. Пальцы его постоянно двигались, словно перебирали невидимые чётки.

Перед Рудым, на старом брезенте цвета хаки, были разложены его сокровища. Карты. Самые разные. От современных, глянцевых, пахнущих типографской краской атласов до ветхих, пожелтевших листов, испещрённых выцветшими чернилами. Глобусы — один большой, с трещиной вдоль экватора, и несколько маленьких, настольных. Морские лоции. Путеводители девятнадцатого века с золотым тиснением на корешках. Астролябия — настоящая, старинная, с арабской вязью, за которую любой музей отдал бы целое состояние. Но Рудый не продавал её. Она лежала просто так, как часть антуража.

— Здорово, Рудый, — сказал Григорий, присаживаясь на корточки рядом с брезентом.

Торговец медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, поднял голову. Здоровый глаз его блеснул. Тонкие, бледные губы растянулись в подобии улыбки, обнажив жёлтые, прокуренные зубы.

— А, грибник, — проскрипел он голосом, похожим на шорох сухих страниц. — Явился. Давно тебя не было. Уж думал, ты, как все, помер.

— Живой пока, — Григорий пожал плечами. — Чего мне сделается.

— Живой... — Рудый с сомнением покачал головой. — Живой — это не просто дышать, грибник. Живой — это когда глаза горят. А у тебя они тухлые. Как удохлой рыбы. Опять пиво своё глушил всю ночь?

Григорий поморщился. Рудый всегда говорил то, что думал, не заботясь о вежливости. Это было одной из причин, по которой его недолюбливали на рынке.

— Какая тебе разница? — буркнул он. — Карту хочу посмотреть. Что-нибудь интересное есть?

— Интересное? — Рудый усмехнулся и сплюнул куда-то в сторону, в жухлую траву. — Интересное для тебя — это чтобы маршруты были. Чтобы линии. Чтобы ехать. Ты, грибник, всю жизнь за рулём, а всё равно дурак. Думаешь, дорога — это асфальт и километровые столбы? Дорога — это то, что внутри. Она здесь, — он постучал скрюченным пальцем по своей впалой груди. — И здесь, — он постучал по виску. — А ты всё по бумажкам ищешь.

Григорий вздохнул. Философия Рудого была ему неинтересна. Он просто хотел найти себе занятие на вечер. Что-то, что поможет отвлечься.

— Покажешь что-нибудь или нет? — спросил он с лёгким раздражением.

Рудый прищурился. В его здоровом глазу мелькнуло что-то странное — искра, которую Григорий не смог бы точно определить. Азарт? Страх? Предвкушение? Он медленно, с нарочитой торжественностью, наклонился и зашарил рукой где-то сбоку, под складками брезента.

— Для тебя, грибник, у меня есть кое-что особенное, — прошептал он, и голос его из скрипучего стал вкрадчивым, почти интимным. — Не для всех. Я её давно берегу. Для того, кто сможет понять.

Он вытащил на свет небольшой свёрток, завернутый в кусок старой, грубой холстины, перевязанной выпцветшей кожаной тесьмой. Свёрток был небольшим, но на вид тяжёлым. Григорий протянул было руку, но Рудый отдернул свёрток, как будто играл с котёнком.

— Нет, погоди. Сначала скажи мне: ты веришь в то, что мир не такой, каким мы его видим? — спросил он, и глаз его впился в Григория с неожиданной силой.

— Чего? — Григорий опешил. — Ты это к чему?

— К тому, — Рудый приблизил своё лицо, и Григорий почувствовал запах табака и сухих трав, исходивший от него. — Что есть вещи, которые не вписываются в твои атласы. Есть дороги, которые не нанесены ни на одну карту, но они существуют. Они ждут. Они зовут. И иногда они выбирают себе путника.

— Слушай, Рудый, я не под наркотой, — Григорий начинал злиться. — Давай карту, если есть, или я пошёл.

Рудый усмехнулся и, наконец, протянул ему свёрток.

— Держи. Только не бойся.

Григорий взял свёрток. Он был на удивление тяжёлым для такого размера. Холстина была грубой, колючей на ощупь, и пахла не пылью, не плесенью, а чем-то совершенно иным. Солью. Сухой, горячей солью. И ещё — полынью. Горький, терпкий аромат, от которого у Григория на мгновение закружилась голова. Он развязал тесьму, откинул край ткани и замер.

Внутри был не лист бумаги. Это был пергамент. Настоящий, толстый, неровный пергамент с ворсистыми, необработанными краями. Он был выдублен так, что напоминал кожу какого-то древнего, неведомого зверя. Поверхность его была желтовато-коричневой, с более тёмными пятнами, похожими на следы времени или влаги. Но самое главное было то, что на нём было изображено.

Рисунок был выполнен не краской, не типографской тушью. Линии, чёрные с тёмно-бурым, почти кровавым отливом, казались не нанесёнными на поверхность, а вплавленными в саму структуру пергамента. Маршрут начинался в нижнем левом углу, извиваясь, как змея, и уходил вправо и вверх, пересекая местность, которую Григорий никогда не видел ни на одной

карте. Это была пустыня. Бескрайняя, белая, обозначенная мелкими точками — не то песок, не то соль. Вдоль маршрута, на незнакомом языке, буквами, похожими на арабскую вязь, но более угловатыми и резкими, были нанесены названия. И странное дело — Григорий, глядя на них, не мог прочесть их, но понимал смысл. «Соляные Столбы». «Озеро Миражей». «Перевал Жажды». Слова сами всплывали в голове, как перевод с давно забытого, но родного языка.

В центре карты, там, где маршрут раздваивался, была нарисована роза ветров. Но её лучи указывали не на привычные север, юг, запад и восток. Их было больше, и направления были искажены, словно пространство там подчинялось другим законам.

— Что это за место? — хрипло спросил Григорий, не в силах оторвать взгляд от карты. Его пальцы, державшие пергамент, начали мелко дрожать. — Где это находится?

— Нигде, — тихо ответил Рудый, с интересом наблюдая за его реакцией. — И везде. Это Солончак. Белая пустыня. Место, где вода дороже жизни.

— Я не знаю такого места. Этого нет ни в одном атласе.

— Конечно, нет, — Рудый хмыкнул. — Потому что его нет в твоём мире. Это карта другого мира. Или, может быть, нашего, но такого, каким он был до всего. Или будет после.

Григорий, наконец, поднял глаза на старика. Взгляд его был растерянным и в то же время заворожённым.

— Откуда она у тебя?

Рудый долго молчал, пожевывая губами. Казалось, он раздумывает, рассказывать или нет. Потом он тяжело вздохнул и, глядя куда-то в сторону, своим мутным бельмом на серое небо, начал рассказ.

— Был у меня один знакомый. Давно, ещё в той жизни. Старик один. Слепой, как крот. Глаза у него были белые-белые, как это вот, — он указал на своё бельмо. — Но он видел. Видел больше, чем мы с тобой, грибник. Говорил, что каждую ночь ходит во сне по этой пустыне. Что белая соль хрустит у него под ногами, а над головой висят три луны. И он знает там каждый камень, каждый источник. Он и карту эту рисовал. Днём, на ощупь. Пальцы у него все были в чернилах, но линии выходили ровные, как по линейке. Он рисовал и плакал.

— Почему плакал? — спросил Григорий, чувствуя, как холодок пробежал по спине.

— Потому что карта была готова, а он не мог уйти, — Рудый перевёл на Григория свой здоровый глаз, и в нём стояла такая тоска, что Григорию стало не по себе. — Она не для него была нарисована. Она вообще не для всех. Такие карты сами выбирают хозяина. Старик умер, а карта осталась. Я взял её на память. Думал, продам когда-нибудь. Но кому её продашь? Никто и не смотрит. А кто смотрит — смеются. Говорят, фальшивка. Новодел. И только ты... Я ждал, когда ты придёшь. Я знал, что она тебя позовёт.

Григорий слушал его, и сердце его колотилось где-то в горле. Он понимал, что рассказ Рудого — чистой воды безумие, бред сумасшедшего старика. Но его пальцы, сжимавшие пер-

гамент, чувствовали тепло. Живое, пульсирующее тепло, которое шло из глубины материала. И запах соли становился всё сильнее, перебивая даже запах жареных пирожков.

— Сколько ты за неё хочешь? — спросил он, сам не узнавая своего голоса. Он охрип.

Рудый махнул рукой.

— Забирай так. Даром.

— Как это? — Григорий опешил. — Ты же торговец.

— За эту карту, грибник, я денег брать боюсь, — прошептал Рудый, подавшись вперёд. — Она живая. Она сделка. Если я за неё деньги возьму, может, она и меня с собой утянет. А я не хочу. Я своё отходил. А ты... ты ещё нет. Забирай. И... будь осторожен. Не каждая дорога ведёт домой. Некоторые ведут в такие дали, откуда не возвращаются.

Григорий молча, не в силах вымолвить ни слова, спрятал свёрток за пазуху. Пергамент приятно грел грудь. Он поднялся с корточек. Колени хрустнули. Рудый тоже поднялся и вдруг, неожиданно сильным, совсем не стариковским движением, схватил Григория за руку.

— Помни, — сказал он одними губами, глядя ему прямо в глаза. — Вода — это жизнь. Но иногда вода — это смерть. Не перепутай.

Григорий выдернул руку, попятился и, развернувшись, быстро пошёл прочь. Ему казалось, что все на рынке смотрят на него, что свёрток за пазухой светится, привлекая внимание. Он петлял между рядами, натываясь на людей, не отвечая на приветствия знакомых торговцев, и думал только об одном: скорее домой. Развернуть. Рассмотреть. Понять.

Он уже не слышал, как за его спиной старый Рудый, глядя ему вслед, тихо, но отчётливо произнёс, обращаясь не то к самому себе, не то к серому московскому небу:

— Ну, вот. Ушёл. Прощай, грибник. Теперь ты — Путник.

А потом он перекрестился, но не привычным, троеперстным крестом, а странно, слева направо, снизу вверх, и улыбнулся своей беззубой, жутковатой улыбкой. Ветер подхватил с его прилавка несколько старых квитанций и понёс их над рынком, словно души проданных вещей, освободившиеся от оков.

Глава 3. Дом.

Обратный путь Григорий почти не запомнил. Он действовал на автопилоте, как бывало в те далёкие времена, когда после тридцати часов за рулём, балансируя на грани сна и яви, он всё равно умудрялся вести фуру, повинаясь каким-то глубинным, мышечным рефлексам, не требующим участия сознания. Автобус, метро, переходы — всё слилось в размытую серую полосу. Он ощущал только одно: присутствие свёртка за пазухой. Тот не просто лежал под курткой, он, казалось, жил собственной жизнью. От него исходило тепло — не равномерное, как от грелки, а пульсирующее, словно сердцебиение. Григорию мерещилось, что этот ритм подстраивается под его собственный пульс, или наоборот — его сердце начинало биться в такт неведомому ритму карты.

В подъезде он столкнулся с соседкой — бабой Зиной с третьего этажа. Она вечно сидела на лавочке у подъезда, знала всё про всех и обладала уникальной способностью появляться в самый неподходящий момент.

— Здравствуй, Гриша, — прошамкала она, поправляя пуховый платок. — Чего бледный такой? С похмелья, что ли?

— Здравствуйте, Зинаида Петровна, — буркнул он, не останавливаясь. — Нормально всё.

— Нормально... — донеслось ему вслед. — Ходишь, как в воду опущенный. Жениться тебе надо, Гриша! А то совсем пропадёшь один!

Григорий не ответил. Он взбежал по лестнице — для его больных коленей это было настоящим подвигом, — трясущимися руками открыл замок и ввалился в квартиру, захлопнув дверь так, словно за ним гналась свора собак.

В квартире всё было по-прежнему. Та же тишина, тот же запах пыли и остывшего чая. Та же гора пивных банок у кресла. Но теперь эта привычная обстановка показалась ему чужой, какой-то ненастоящей. Декорацией, которую вот-вот сдёрнут, обнажив совсем другую реальность. Он сорвал с себя куртку, не глядя бросил её на вешалку — куртка упала на пол, но он даже не заметил. Стянул ботинки, прошагал на кухню и бережно, словно раненую птицу, извлёк свёрток из-за пазухи.

Холстина на ощупь была всё той же — грубой и колючей. Запах соли и полыни, казалось, стал ещё сильнее, заполнив собой всё пространство маленькой кухни. Григорий положил свёрток на стол, предварительно смахнув с него хлебные крошки и старую газету. Солнечный свет, серый и скудный, падавший из окна, не давал достаточного освещения. Тогда он задёрнул плотные, пыльные шторы, зажёл настольную лампу и склонился над столом.

Под ярким, направленным светом пергамент выглядел ещё более древним и таинственным. Неровная, ворсистая поверхность напоминала кожу. Григорий осторожно, кончиками пальцев, провёл по краю карты. Бумага? Нет. Кожа? Тоже нет. Что-то среднее. Материал был прочным, но эластичным. От него исходило то самое, пульсирующее тепло, и теперь, в тишине квартиры, Григорий готов был поклясться, что слышит его. Не ушами — нет. Это было похоже на низкий, инфразвуковой гул, который ощущаешь не слухом, а всем телом, как вибрацию от мощного двигателя.

Он принёс из комнаты лупу — старую, советскую, в потёртом бакелитовом корпусе. Лупа была его верным спутником в те времена, когда он работал с картами прокладки маршрутов, рассчитывая километраж и время в пути. Он навёл резкость и начал изучать линии.

То, что он увидел при увеличении, заставило его дыхание перехватиться. Линии маршрута, казавшиеся невооружённому глазу просто тонкими чернильными штрихами, на самом деле были сложнейшей структурой. Они состояли из микроскопических, переплетающихся знаков, напоминающих то ли клинопись, то ли ботанические зарисовки. Это были не просто линии, это был текст. Послание, вписанное в самую плоть маршрута. Григорий повёл лупой вдоль извилистого пути от «Айна» к «Соляным Столбам». В одном месте, где маршрут делал крутой поворот, он увидел крошечный рисунок — череп, но не человеческий, а вытянутый, с рогами. Знак опасности. В другом месте, у «Озера Миражей», микроскопические значки складывались в изображение волн. Но волны были нарисованы штриховкой, создающей иллюзию движения. Глядя на них, Григорий почувствовал лёгкое головокружение.

Он отложил лупу и начал изучать названия. Буквы были чужими, но, как и на рынке, он их понимал. Они словно сами переводились в его сознании, минуя стадию визуального распознавания. «Перевал Жажды». «Долина Теней». «Колодцы Молчания». «Гряда Сломанных Копий». Каждое название звучало как зловещая музыка. Поэзия смерти и отчаяния, которой была пропитана эта карта.

И всё же, самым загадочным элементом оставалась роза ветров. Григорий много раз видел старинные карты — он любил их за эту деталь, за красивую, вычурную звезду, указывающую стороны света. Но здесь всё было неправильно. Лучей было не четыре, не восемь, а двенадцать. И расходились они не под прямыми углами, а под какими-то странными, неевклидовыми градусами. Два луча, например, шли почти параллельно друг другу, но один был обозначен как «Север», а второй — как «Внутрь». Что такое «Внутрь»? Какое это направление? Ещё один луч, самый тонкий и слабый, вёл в самый центр карты, туда, где не было никаких объектов, только пустота. Этот луч был подписан одним-единственным, коротким словом, которое заставило Григория похолодеть: «Домой».

— Что за чёрт... — прошептал он и, поддавшись внезапному порыву, положил на карту всю ладонь.

Мир взорвался ощущениями.

Волна жара ударила в лицо, словно он открыл дверцу раскалённой духовки. Запах соли стал невыносимым, он проник в ноздри, в горло, заполнил лёгкие. Григорий почувствовал, как его кожа мгновенно пересохла, а губы начали трескаться, как на пятидесятиградусном морозе. Перед глазами, перекрывая вид кухни, встала картина: бескрайняя, ослепительно белая равнина. Солнце, висящее в зените, безжалостное, огромное, белое, как сама пустыня. И тишина. Звонящая, абсолютная тишина, нарушаемая только хрустом соли под ногами. Его собственными ногами. Он стоял там. Стоял посреди этого безмолвия и чувствовал, как жар высасывает из него жизнь, как вода испаряется из его тела, как кровь загустевает в жилах.

Но через этот всепоглощающий жар и ужас пробивалось ещё что-то. Чувство... узнавания. Ностальгия. Как будто он, наконец, вернулся домой после очень долгой, бесконечно долгой командировки. Этот покой, это странное, глубинное удовлетворение испугало его больше всего.

Он с криком отдернул руку. Видение исчезло. Он снова был на своей кухне. За окном шуршали шинами машины по мокрому асфальту. На плите тихо посвистывал чайник. Но ощущение жара осталось. И запах. Запах соли и горячего ветра теперь пропитал всё вокруг, перебивая даже запах пыли.

Григорий посмотрел на свою ладонь. Она была красной, словно он и вправду подержал её над огнём. На кончиках пальцев выступили крошечные капельки пота. Он перевёл взгляд на карту. С ней что-то происходило. Линии маршрута, те самые, что были нарисованы чёрной тушью с кровавым отливом, начали меняться. Сначала ему показалось, что это просто блики от лампы. Он моргнул, протёр глаза, но видение не исчезло. Линии действительно светились. Слабое, багровое свечение разгоралось вдоль всего маршрута, от точки старта в левом нижнем углу до последней отметки у верхнего края карты. Это было похоже на раскалённые угли в прогоревшем костре, которые вдруг снова занялись огнём от порыва ветра.

— Нет, — прошептал Григорий, отступая от стола. Стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся. — Этого не может быть. Это розыгрыш. Химическая реакция. Какая-нибудь люминесцентная краска...

Но он знал, что врёт себе. Краска не могла пахнуть солью и полынью. Краска не могла вызывать видения. Краска не могла гудеть.

Гул, который он ощущал телом, внезапно перешёл в слышимый диапазон. Низкий, вибрирующий звук заполнил кухню. Задребезжали стёкла в серванте, стоявшем в комнате. Жалобно звякнули фужеры — те самые, что они с Леной так и не разбили «на счастье». Один из них, с тонкой, хрустальной ножкой, лопнул, осыпавшись на полку сверкающими осколками. Гул нарастал, становился глубже, мощнее. Он проникал в голову, вгрызался в зубы, вытеснял все мысли, кроме одной: «Бежать!».

Но бежать было некуда. Пол под ногами пошёл волнами. Сначала мелкой, противной дрожью, а потом — настоящими, плавными колебаниями, как палуба корабля в шторм. Григорий попытался ухватиться за край кухонного стола, но пальцы его скользнули по клеёнке, не найдя опоры. Он потерял равновесие и начал заваливаться назад. Краем глаза он успел увидеть, как карта, лежавшая на столе, вдруг взмыла в воздух. Она не упала, не спланировала, а именно взмыла, словно подхваченная невидимым потоком, и развернулась к нему своей плоскостью.

И тогда из неё хлынул свет.

Не огонь, не электрическая вспышка, а именно свет — плотный, белый, как расплавленный металл, но не обжигающий. Свет заполнил собой всё. Кухня исчезла. Исчезли стены, потолок, пол. Исчез гул машин за окном, исчез запах пыли и остывшего чая. Остался только этот всепоглощающий, звенящий белый свет, в котором растворилась старая жизнь Григория Ткача.

Последней мыслью, мелькнувшей в его гаснущем сознании, была мысль о Лене. Не о той, измождённой болезнью, лежащей на больничной койке, а о той, молодой, смеющейся, из далёкого новосибирского рейса. Она стояла там, в этом свете, и протягивала ему руку. «Не бойся, Гриша, — казалось, говорила она. — Ты всегда знал, что главная дорога — не по карте.

Она здесь». Она прикоснулась ладонью к его груди, туда, где всё ещё ощущалось тепло от карты. И Григорий сделал шаг вперёд. В неизвестность. В белую бездну.

В квартире воцарилась тишина. Телевизор, работавший в фоновом режиме, вдруг погас. Электронные часы на микроволновке мигнули и сбросились. Где-то в глубине дома, в подвале, коротко взвыл и затих трансформатор. А на полу кухни, среди осколков хрусталя и опрокинутого стула, остался лежать старый, никому не нужный пергамент. Обычный кусок старой бумаги с выцветшими чернилами. Мёртвый. Пустой. Ветер, ворвавшийся в приоткрытую форточку, лениво пошевелил его край. Но в комнате уже никого не было. Только запах соли, густой и терпкий, медленно растворялся в воздухе, напоминая о том, что здесь только что открылась дверь, в которую уходят не телом, а душой. Или наоборот — уходят душой, а тело следует за ней, как послушный ученик за Учителем.

Григорий Ткач, бывший дальнобойщик, пенсионер и вдовец, исчез из своей московской квартиры в воскресенье, в четырнадцать часов семнадцать минут по местному времени. Он отправился в самый дальний рейс в своей жизни. Рейс, из которого, как гласили древние легенды, не все возвращаются прежними. А некоторые не возвращаются вовсе. Но он об этом ещё не знал. Он вообще пока ничего не знал. Потому что его сознание, преодолев белую вспышку, начало медленно погружаться в другую реальность. В мир белого безмолвия, где его уже ждали. И где его новая, настоящая жизнь только начиналась.

Глава 4. Белое безмолвие.

Первое, что вернулось к нему, был звук. Даже не звук — вибрация. Низкая, утробная, проходящая сквозь всё тело, от затылка до пят. Она напоминала гул двигателя, который он чувствовал спиной, прижимаясь к спинке водительского кресла в старой фуре. Но здесь, в этой вибрации, не было ритма, не было привычного мерного тарахтения дизеля. Она была хаотичной, шершавой, как будто сама земля, на которой он лежал, тихо стонала от боли.

Потом пришло ощущение поверхности. Жёсткой. Колючей. Неравномерной. Тысячи мелких острых граней впивались в его спину, в бёдра, в ладони. Он попытался пошевелиться, и эти грани с хрустом сомкнулись вокруг него, словно он попал в гигантский капкан. Хруст был сухим, резким, неприятным — так хрустит под ногами наст, только гораздо громче, усиленный во сто крат. Этот звук заполнил всё его существо, проник в голову, заставив поморщиться от боли, которая ещё не пришла, но уже предупреждала о себе.

И, наконец, свет. Он пришёл не сразу. Сначала Григорий просто ощутил его как жар на веках. Веки были тяжёлыми, словно налитыми свинцом. Он попытался их разлепить, но яркий, пронзительный свет ударил в глаза с такой силой, что он тут же зажмурился снова, застонав. Этот свет был повсюду. Он просачивался даже сквозь плотно сжатые веки, окрашивая внутреннюю темноту в оранжево-красный, болезненный цвет. Казалось, сама атмосфера здесь была сделана из раскалённого добела металла.

Григорий попытался приподняться, опираясь на локти. Движение далось ему с трудом. Тело не слушалось. Каждая мышца ныла, каждый сустав протестовал. Голова кружилась так сильно, что его чуть не стошнило. Он глубоко вздохнул, пытаясь справиться с тошнотой, и тут же закашлялся. Воздух был сухим, не просто сухим — он был мёртвым. В нём не было ни капли влаги. Он царапал горло, словно наждачная бумага, обжигал трахею. А с кашлем пришёл и запах. Запах, который он впервые почувствовал там, на рынке, и который теперь стал всеобъемлющим, всепроникающим — запах соли. Терпкий, горьковатый, с каким-то металлическим, кровавым оттенком. Так пахнет море, когда уходишь далеко от берега. Но здесь не было моря. Здесь была только соль.

Он сделал ещё одну попытку, на этот раз более решительную. Сжав зубы, преодолевая боль и головокружение, он сел и, наконец, открыл глаза.

Мир был белым.

Это была не та белизна, которую он знал. Не белизна больничных стен, не белизна свежеснеженного снега, не белизна бумажного листа. Это была абсолютная, всепоглощающая белизна, которая, казалось, не просто отражала свет, но и пожирала его, оставляя только выжженное, пустое пространство. Белая, насколько хватало глаз, равнина. Ни дерева, ни кустика, ни камня. Только соль.

Он сидел на соли. Она была повсюду. Под ним, вокруг него, насколько хватало зрения — до самого горизонта. Она была не похожа на ту мелкую, очищенную соль, что стоит в солонке на кухне. Это была грубая, серая в тени и ослепительно сверкающая на свету корка, состоящая из крупных, острых кристаллов. Некоторые кристаллы были размером с его кулак, с рваными,

режущими краями. Они искрились под лучами солнца, как драгоценные камни, но их красота была обманчива. От них веяло смертью.

Григорий провёл ладонью по поверхности. Кристаллы тут же впились в кожу, оставляя белые царапины. Он поднёс ладонь к лицу — на ней выступили крошечные капельки крови, которые, смешиваясь с солью, тут же загустевали и темнели. Кровь была густой, слишком тёмной. Обезвоживание.

И тогда его накрыло. Паника. Не та, лёгкая тревога, которую он испытывал на рынке или дома. Это была настоящая, животная паника, которая хватает за горло и лишает рассудка. Сердце заколотилось где-то в горле. Дыхание перехватило. Он вскочил на ноги, пошатнулся, чуть не упал, но устоял.

— Э-эй! — закричал он что было сил. — Есть тут кто?!

Его голос, сорвавшийся на хрип, прозвучал глухо, как из-под подушки, и тут же умер, не породив эха. Белая равнина поглотила его крик, как губка поглощает воду. Тишина, наступившая после, была ещё страшнее. Это была не та уютная, домашняя тишина, к которой он привык в своей квартире. Это была звенящая, абсолютная тишина, которая, казалось, имела свою собственную плотность. Она давила на барабанные перепонки, проникала в голову, вытесняя все мысли. Единственное, что он слышал, — это собственное, надсадное дыхание и бешеный стук сердца.

— Эй! Кто-нибудь! Помогите!

Он кричал снова и снова, пока голос окончательно не сел, превратившись в жалкое сипение. Он крутился на месте, озираясь по сторонам, но картина была везде одинакова: белая корка, белое марево на горизонте, белое, без единого облачка, небо. Солнце стояло в зените, но определить, где восток, а где запад, было невозможно. Свет был вездесущим, он не давал теней. Он лился со всех сторон одновременно, как в какой-то гигантской, космической фотолaborатории.

Это был не сон. Сны не бывают такими детальными. Сны не пахнут солью и не причиняют физическую боль. Он поднёс руку ко рту и укусил себя за костяшку пальца. Боль была острой, мгновенной. Кровь, смешанная с солью, обожгла разбитые губы. Реально. Всё реально.

— Как?! — прохрипел он, обращаясь к равнодушному небу. — Как я сюда попал?! Где я?!

Небо молчало. Равнина молчала. Только соль хрустела под ногами, когда он, спотыкаясь, сделал несколько шагов. В панике он начал рыться в карманах. Штаны, фланелевая рубашка, свитер. Что на нём было? То же, что и утром. Ключи от квартиры. Носовой платок. Старый, потёртый бумажник с парой купюр и водительскими правами. Кому здесь нужны его права? Кому здесь нужны его деньги? Ему нужна вода. Ему нужно понять, где он находится. Ему нужно выбраться.

И тут его осенило. Карта. Он снова ощупал себя. Под свитером, за пазухой, там, где он её спрятал, было пусто. Карта исчезла. Он помнил, как она взмыла в воздух, как из неё хлынул свет, но где она теперь? Он огляделся, шаря взглядом по белой поверхности. Может, она упала

рядом, когда он... что? Телепортировался? Провалился в другое измерение? Бред. Полный бред. Но среди ослепительной белизны не было ни клочка бумаги.

— Чёрт! Чёрт! Чёрт! — он выругался, и эхо, наконец, появилось — слабое, искажённое, но эхо. Значит, где-то рядом были неровности рельефа.

Надо было идти. Он понимал это. Остаться на месте — верная смерть. Солнце выжжет его за несколько часов. Он прикинул направление — совершенно произвольно, потому что никаких ориентиров не было, — и пошёл. Хруст. Хруст. Хруст. Его шаги были единственным звуком в этой мёртвой вселенной.

Час. А может, два. А может, и три. Время в этом белом аду текло иначе. Оно то растягивалось, превращая каждую минуту в вечность, то сжималось в тугую пружину. Солнце, казалось, застыло в зените, не двигаясь с места. Жара становилась всё невыносимее. Григорий чувствовал, как его тело буквально высыхает. Кожа на лице и руках натянулась, стала тонкой, как пергамент, и начала зудеть. Он расстегнул свитер, потом рубашку. Пот заливал глаза, но испарялся почти мгновенно, оставляя на коже липкий, соляной налёт. Он чувствовал, как соль забивается в поры, в нос, в уши. Она была везде.

Язык во рту распух, стал шершавым и чужим, как кусок войлока. Губы потрескались до крови. Каждый вдох обжигал горло. Он начал глотать собственную слюну, но её почти не было. Жажда стала единственной мыслью, единственным чувством. Она вытеснила всё: страх, панику, недоумение. Он превратился в одно сплошное, кричащее от жажды существо. Он думал о воде. О кружке холодной, прозрачной воды. О влажном, сочном арбузе. О чае, которым поила его Лена. О пиве, которое он выливал в раковину. Каким же он был идиотом! Выливать воду! Здесь, в этом мире, он убил бы за глоток того тёплого, противного пойла.

Он начал спотыкаться. Ноги вязли в соляной корке. Острые кристаллы пробивали подошву его городских ботинок. Он упал. Встал. Снова упал. Подняться было всё труднее. Ему казалось, что какая-то чудовищная сила прижимает его к земле, что соль засасывает его, как тряпина. Он пополз. По-пластунски, раздирая одежду и кожу об острые грани. Сознание мутилось. Перед глазами плыли радужные круги и чёрные точки. Мир начал терять реальность.

Ему почудилось, что он слышит голоса. Шёпот, раздающийся из-под земли. Ему казалось, что белая равнина вокруг него населена призраками. Вот справа, в мареве, встаёт фигура человека. Он поворачивает голову — никого. Мираж. Вот слева, совсем рядом, блестит гладь озера. Пальмы склоняются над водой. Он даже слышит плеск волн. Но нет. Это снова мираж. Он уже знал это. Мираж — это то, что пустыня хочет тебе показать. А правда всегда спрятана. Правда — это смерть. Белая, хрустящая, солёная смерть.

— Лена... — прошептал он пересохшими губами. — Лена, заberi меня. Я устал. Я так устал...

Он перевернулся на спину. Солнце ударило прямо в лицо. Он даже не зажмурился. Какая разница? Всё равно темнота уже подступала, окутывала его со всех сторон. Гул в ушах нарастал. Он уже не чувствовал боли. Только бесконечную, всепоглощающую усталость. И покой. Станный, нелогичный покой. Он умирал. Он понимал это. И почему-то это было не страшно. Страшно было возвращаться в ту, пустую квартиру. А здесь, в белой пустыне, умирать было легко. Просто заснуть. Просто перестать быть.

Гул в ушах стал громче. Он перешёл в ритмичный стук. Топот. Скрип. Григорий с трудом разлепил веки. Белое марево качалось, дрожало. Сквозь пелену он увидел тени. Тёмные, колеблющиеся силуэты на фоне белого неба. Они приближались. Медленно, величественно. Он слышал голоса. Гортанные, резкие крики. Звон. Как будто звенели маленькие колокольчики.

— Мираж, — прохрипел он, и из его горла вырвался смешок, похожий на карканье. — Опять мираж. Ну давай. Покажи мне оазис. Покажи мне воду. Дай умереть красиво.

Но мираж не исчезал. Тени обретали форму. Он увидел огромных, неуклюжих животных с плоскими, как лопаты, копытами. На их спинах покачивались закутанные в белые балахоны фигуры. Пахло дымом, кожей и чем-то ещё — едва уловимым, но таким родным. Запахом жизни.

Одна из фигур, более лёгкая и стремительная, чем остальные, отделилась от каравана и направилась к нему. Григорий смотрел, как она приближается, и сил удивляться уже не было. Он просто ждал. Ждал, когда мираж растает, как и все предыдущие.

Но вот фигура остановилась прямо над ним. Он услышал шорох одежды, почувствовал движение воздуха. Чья-то рука коснулась его плеча. Рука была реальной. Тёплой. Живой. Из-под капюшона на него смотрели глаза. Тёмные, глубокие, с золотистыми искорками. Женские глаза. Они были полны тревоги и какого-то сурового, пустынного сострадания.

— Живой, — услышал он голос. Слова были чужими, но он понял их. — Эй, ты живой? Слышишь меня?

Он хотел ответить, но не смог. Только едва заметно шевельнул губами. Женщина наклонилась ближе. От неё пахло дымом и пряными травами. Запах перебил даже вездесущую соль.

— Держись, — сказала она. — Не умирай. Я не дам тебе умереть.

Она поднесла к его губам бурдюк. И в следующее мгновение он почувствовал влагу. Всего несколько капель. Но они показались ему океаном. Вода полилась в его пересохший, растрескавшийся рот. Тёплая, пахнущая кожей бурдюка, с привкусом соли. Но это была самая вкусная вода в его жизни. Он пил, захлёбываясь и кашляя, вцепившись в руку своей спасительницы с силой, которая удивила его самого.

А потом темнота, которая всё это время кружила на периферии сознания, нахлынула с новой силой. На этот раз — спасительная, целительная. Он потерял сознание, но последней мыслью, которая мелькнула в его гаснущем мозгу, была не мысль о смерти. Это была мысль о том, что он спасён. Что его рейс окончен. Что он, кажется, добрался до места назначения.

Женщина, которую звали Эла, выпрямилась и махнула рукой своим спутникам. Двое крепких мужчин в белых балахонах подошли, подняли бесчувственное тело и понесли к повозкам. Караван, ненадолго прервавший свой вечный путь, снова двинулся вперёд. Соляные волы, мерно переставляя свои широкие копыта, хрустели солью. Солончак молчал. Он принял новую жертву. Или нового сына. Время покажет. А пока над бескрайней белой равниной, нарушая её вечное безмолвие, плыл всё тот же ритмичный, убаюкивающий звук: хруст, хруст, хруст. И

звон маленьких колокольчиков, привязанных к повозкам. Звон надежды. Звон жизни. Звон, который Григорий уже не слышал, но который про никал в его сны, обещая покой, дом и долгожданную встречу с самим собой.

Глава 5. Вода.

Сознание возвращалось к Григорию мучительно, толчками, словно он всплывал с огромной глубины, где давление сплющивало лёгкие, а в ушах стоял непрерывный, звенящий гул. Сначала пришло ощущение прохлады. Блаженной, влажной прохлады на губах — первое, что пробилося сквозь толщу беспамятства. Эта прохлада была такой острой, такой контрастной по сравнению с тем адским жаром, в котором он побывал, что на мгновение ему показалось: он уже умер и попал в рай. Рай пах кожей, дымом и пряными травами.

Потом он почувствовал, как кто-то придерживает его голову. Рука была сильной, но удивительно бережной. Пальцы лежали на его затылке, поддерживая, не давая упасть. И в рот ему лилась вода.

Это была не просто вода. Это была сама жизнь. Тёплая, чуть солоноватая, пахнущая кожаным бурдюком и чем-то отдалённо напоминающим мяту. Она текла по его распухшему, покрытому трещинами языку, просачивалась в пересохшее горло, и каждое глотательное движение отдавалось во всём теле острой, почти болезненной вспышкой наслаждения. Он пил жадно, захлёбываясь, кашляя, давясь, но не в силах оторваться. Ему казалось, что он никогда в жизни не пил ничего вкуснее. Никакой чай, никакой сок, никакое пиво не могли сравниться с этими несколькими глотками тёплой, отдающей кожей влаги.

— Тише, тише, — услышал он голос. Мягкий, низкий, с гортанным, чужим акцентом. — Не спеши. Утонешь. Пей медленно. Маленькими глотками. Вода любит терпеливых.

Он попытался открыть глаза. Это стоило огромных усилий. Веки, спекшиеся от соли, не хотели разлепляться. Он сморгнул, и перед глазами всё поплыло — мутные, размытые пятна. Он зажмурился снова, помотал головой, преодолевая головокружение, и сделал ещё одну попытку. На этот раз зрение сфокусировалось.

Над ним склонилась женщина.

Она была совсем не такой, какой он ожидал её увидеть. Почему-то в его полубреду, там, в пустыне, ему почудилась старуха — сгорбленная, сморщенная, похожая на бабу Зину из его подъезда. Но эта женщина была молодой. Лет тридцати, может, чуть больше. Её лицо, обрамлённое выбившимися из-под белого платка прядями чёрных, как вороново крыло, волос, было смуглым, обветренным, но при этом удивительно тонким и правильным. Высокие скулы, прямой нос, чётко очерченные губы. Но главными были глаза. Огромные, тёмно-карие, почти чёрные, но в глубине их, когда она поворачивалась к свету, вспыхивали золотистые искорки, как слюда в горной породе. Глаза, которые видели слишком много боли, но не утратили способности к состраданию. Она смотрела на него с тревогой, любопытством и какой-то спокойной, уверенной силой, которая сразу же передалась и ему.

— Ты живой, — сказала она, и её губы, потрескавшиеся от солнца и соли, тронула слабая улыбка. — Хорошо. Я уже думала, ты умер. Солнце почти выпило тебя. Ещё час — и мы бы нашли только твою оболочку. Пустую, как сброшенная кожа змеи.

— Где... — Григорий попытался заговорить, но из горла вырвался только хрип, похожий на карканье. — Где я? Кто ты?

— Ты у своих, путник, — ответила она, убирая бурдюк с водой в сторону. — Ты в караване Хасима. В мире, который мы называем Солончак. А я — Эла. Водоноска. Это я нашла тебя у Семи Холмов, одного, умирающего. Зачем ты вышел в пустыню один? Это верная смерть. Даже опытные следопыты не ходят здесь без припасов. А ты... ты был одет странно. И обут не по нашему. Ты откуда пришёл?

Григорий попытался осмыслить услышанное. Караван. Солончак. Семь Холмов. Слова были чужими, но смысл их доходил до него каким-то странным, обходным путём, словно встроенный переводчик работал с задержкой. Он понимал её. Не всё, но достаточно, чтобы осознать: он в другом мире. В том самом, с карты. И это не сон.

— Я... я не знаю, — честно ответил он. — Я просто... появился здесь.

Эла нахмурилась. Она откинулась назад, сидя на корточках, и внимательно посмотрела на него. В её взгляде не было насмешки или недоверия. Только глубокое, изучающее внимание, какое бывает у врача, осматривающего пациента со странными симптомами.

— Иногда Солончак забирает, — сказала она наконец. — А иногда... возвращает. Такое бывает. Старики рассказывают легенды. О людях, которые приходили из ниоткуда. Некоторые из них становились великими. Некоторые сходили с ума и снова уходили в пустыню, и больше их никто не видел. Но всегда, всегда Солончак что-то берёт взамен. Может быть, ты расплатился своей памятью. Ты помнишь, как тебя зовут?

— Григорий. Григорий Ткач.

— Гри-го-рий, — медленно, по слогам, повторила она. Звук его имени в её устах был незнакомым, гортанным, но приятным. — Длинное имя. Слишком длинное для Солончака. Здесь имена короткие. Как вода. Если хочешь выжить, привыкай.

Она поднялась. Движения её были плавными, экономными, как у всех, кто привык тратить энергию бережно. Григорий только сейчас заметил, что находится в низкой палатке. Стены и потолок были сделаны из плотной, грубой ткани — не то шерсть, не то войлок, — которая, тем не менее, хорошо защищала от палящего солнца. Снаружи просачивался яркий свет, играя на ткани тенями. Он лежал на жёсткой подстилке, брошенной прямо на землю. Пахло дымом, солью, кожей и какими-то незнакомыми, терпкими травами.

— Отдыхай, — сказала Эла. — Тебе нужно набраться сил. Ты потерял много влаги. Твоё тело сейчас как сухая губка. Если дать ему слишком много воды сразу, оно разбухнет и лопнет. Закон пустыни: вода — это жизнь, но даже жизнь может убить, если быть жадным.

Она указала на глиняный кувшин, стоявший в углу палатки.

— Там вода. Пей понемногу. Три глотка, не больше. Потом жди. Через час — ещё три глотка. Понял?

Он слабо кивнул. Она уже собралась уходить, но он остановил её хриплым окриком:

— Эла!

Она обернулась.

— Спасибо, — сказал он. — За воду. За то, что не прошла мимо.

Она посмотрела на него долгим, серьёзным взглядом.

— Не благодари, Гри-го-рий. В Солончаке не благодарят за воду. Вода — это дар небес. Или земли. Или того, во что ты веришь. Я просто несу её туда, где она нужна. Такова моя работа. Отдыхай. Я приду позже. Мне нужно идти — караван готовится к переходу. Скоро стемнеет, и тогда мы двинемся в путь.

И она вышла, откинув полог палатки. На мгновение Григорий ослеп от яркого, белого света, хлынувшего внутрь, а затем полог опустился, и снова воцарился спасительный полумрак.

Он остался один. Перевёл дыхание. Сердце всё ещё колотилось где-то в горле, но паника, которая душила его в пустыне, отступила. Её сменило странное, отупляющее спокойствие. Так бывает с человеком, который прошёл через смертельную опасность и выжил. Мозг ещё не до конца осознал произошедшее, и работал в экономном, аварийном режиме.

Он приподнялся на локте, потянулся к кувшину. Рука дрожала. Он сделал три глотка, как велела Эла, и с огромным усилием заставил себя поставить кувшин обратно. Каждая клетка его тела кричала: «Пей! Ещё!». Но он сдержался. Дисциплина, выработанная десятилетиями за рулём, где неверное движение может стоить жизни, взяла верх.

Он снова лёг и уставился в тканевый потолок. Мысли путались. Дом. Карта. Рудый. Видение Лены в белом свете. Белая пустыня. Эта женщина... Эла. Водоноска. Так она себя назвала. Что это значит? Она ищет воду? Она торгует ею? Она её охраняет?

Он снова и снова прокручивал в голове их короткий разговор. Её слова были резкими, отрывистыми, как и подобает жителю сурового края, но в них не было враждебности. Только настороженность. И что-то ещё. Любопытство? Да, точно. Она смотрела на него как на загадку, которую ей хотелось разгадать.

Он закрыл глаза. Перед внутренним взором снова всплыла карта. Линии маршрута, горящие багровым светом. Роза ветров с двенадцатью лучами. Слово «Домой», указывающее в пустоту. Что это всё значит? Куда он попал? И главное — как ему вернуться? И хочет ли он возвращаться?

Последняя мысль заставила его вздрогнуть. Он вспомнил свою квартиру. Серые стены. Гору пивных банок. Тишину. Одиночество. Бесконечное, бессмысленное существование, в котором единственным развлечением были старые карты и походы на блошинный рынок. Что ждало его там? Ещё десять, пятнадцать, может быть, двадцать лет медленного угасания? Редкие звонки от дочери, которая давно стала чужой? Одиночество в толпе?

А здесь? Здесь он чуть не умер. Но здесь он чувствовал себя... живым? Нет, это было слишком громкое слово. Он чувствовал себя... нуждающимся. Да. Нуждающимся в воде, в пище, в защите. Базовые, животные потребности, которые он давно перестал замечать в своём

комфортном, благоустроенном аду. Здесь, чтобы выжить, нужно было бороться. Нужно было двигаться. Нужно было думать. И это странным образом наполняло его энергией.

Он пролежал так, наверное, час или два. Время в палатке текло иначе — его измеряли не часы, а свет, просачивающийся сквозь ткань, и звуки снаружи. А звуков было много. Скрип повозок. Фыркание животных. Гортанные выкрики погонщиков. Плач ребёнка. Женский смех. Звон металла. Вся эта какофония была непривычной после могильной тишины его квартиры, но в ней была жизнь. Грубая, шумная, но жизнь.

Наконец полог снова откинулся, и вошла Эла. Она принесла с собой запах дыма и горячей еды. В руках у неё была глиняная миска, от которой поднимался пар.

— Ешь, — сказала она, ставя миску перед ним. — Это похлёбка. Соляные корни и немного мяса соляного вола. Негусто, но силы вернёт.

Григорий с трудом сел. Голова кружилась, но уже не так сильно. Он взял миску. Еда выглядела неаппетитно — мутная, сероватая жижа, в которой плавали какие-то волокна. Но запах! Запах был божественным. Он зачерпнул ложкой — грубой, деревянной, — и поднёс ко рту. Вкус был странным. Солёным, терпким, с горчинкой. Но это была горячая пища. Первая горячая пища, которую он ел... он даже не мог вспомнить, сколько времени прошло с его последнего нормального обеда.

Эла села рядом, скрестив ноги, и молча наблюдала, как он ест. Она сняла платок, и её чёрные волосы, заплетённые в тугую косу, упали на плечо.

— Ты хорошо ешь, — заметила она. — Значит, будешь жить. Те, кто скоро умрёт, не хотят есть.

— Спасибо, — снова сказал он, и на этот раз его голос звучал более твёрдо. — Расскажи мне. Расскажи об этом месте. О Солончаке. О караване. Кто вы? Куда идёте?

Эла вздохнула. Она откинулась назад, опершись на руки, и посмотрела на тканевый потолок, словно читая на нём невидимые письма.

— Солончак — это мир, Гри-го-рий, — начала она. — Бескрайняя соляная пустыня. Здесь нет рек. Нет озёр. Нет морей. Вода есть только под землёй, в потаённых родниках и глубоких колодцах. Тот, кто владеет водой, владеет жизнью. За неё убивают. Ради неё умирают. Вода — это наша валюта, наша вера, наша война и наш мир.

Она говорила медленно, размеренно, как учительница, объясняющая урок нерадивому ученику.

— Мой караван — это Дом Колеса. Мы — кочевники. Мы не живём в оазисах, мы ходим между ними. Перевозим товары: соль, ткани, пряности, железо. Но главное, что мы везём, — это вода. Я водоноска. Моя задача — находить источники, наполнять бурдюки и следить, чтобы у каждого в караване было достаточно воды для перехода. Это древнее искусство. Моя мать была водоноской. И бабушка. И прабабушка. Это у нас в крови.

— А старейшина? — спросил Григорий, вспомнив имя Хасим. — Он главный?

— Хасим — аксакал, — кивнула Эла. — Самый старый и самый мудрый. Он принимает решения. Куда идти. Кому сколько воды. Кого наказать, кого помиловать. Его слово — закон. Но даже он не смеет спорить с пустыней. Пустыня главнее всех нас.

Она замолчала, глядя на огонёк масляной лампы, стоявшей в углу палатки. Григорий доел похлёбку, отставил миску.

— Почему ты спасла меня? — спросил он. — Я чужак. Я бесполезен. Зачем тратить на меня воду и еду? Разве здесь это не роскошь?

Эла перевела взгляд на него. В её глазах снова блеснули те самые золотистые искорки.

— Потому что так велит Закон Пустыни, — ответила она просто. — Путник, встреченный в песках, — это дар. Или испытание. Никто не знает заранее. Может быть, ты принесёшь нам удачу. Может быть, беду. Но бросить тебя умирать — значит прогневить Солончак. А он этого не прощает. Кроме того...

Она запнулась, словно раздумывая, говорить ли дальше.

— Кроме того, ты странный. Я видела много чужаков. Торговцев, разбойников, беглецов. Но ты другой. Ты смотришь на мир так, как будто видишь его впервые. И в то же время... в твоих глазах есть что-то знакомое. Что-то, что я не могу понять. Ты не просто путник, Григорий. Ты — загадка. А загадки здесь ценятся на вес воды.

Она встала, собираясь уходить.

— Отдыхай. Завтра на рассвете караван выступает. Мы идём к оазису Айн. Если хочешь, можешь идти с нами. Если нет — тебя никто не держит. Но один ты не пройдёшь. Ты слишком... мягкий.

Она улынулась — короткой, скупой улыбкой, которая, тем не менее, преобразила её суровое лицо.

— Я хочу с вами, — сказал Григорий. — Я хочу научиться. Научи меня.

— Чему?

— Всему. Как выживать здесь. Как искать воду. Как понимать пустыню. Я не хочу быть обузой.

Эла долго смотрела на него. Её лицо было непроницаемым, но в глазах читалась работа мысли.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Учить я умею. Но предупреждаю: легко не будет. Солончак не прощает слабости. И ошибок. Ты будешь падать, обдирать колени, мучиться от жажды и жалеть, что не умер там, у Семи Холмов. Но если ты выдержишь... если ты действительно хочешь стать одним из нас... тогда, может быть, пустыня откроет тебе свои тайны.

Она подошла к выходу, но у самого полога обернулась.

— И вот ещё что, Гри-го-рий. Слишком длинное имя, я же говорила. Для каравана ты будешь просто... Седой. Из-за твоих волос. Здесь редко доживают до седины. Это знак. Может быть, добрый. Может быть, нет. Посмотрим.

И она вышла, оставив его одного в полумраке палатки, с пустой миской в руках и гулом караванной жизни за тонкой тканевой стеной. Григорий откинулся на подстилку и закрыл глаза. Седой. Новое имя. Для нового мира. Для новой жизни.

Он чувствовал, как тело понемногу оживает, как каждая клетка впитывает драгоценную влагу. Он чувствовал усталость, но это была хорошая, честная усталость. Не та, что от безделья и пива, а та, что от борьбы за жизнь. Он провёл языком по потрескавшимся губам, всё ещё ощущая вкус тёплой воды из бурдюка. Вода. Жизнь. Здесь это было синонимами.

Засыпая, он подумал о том, что за один день пережил больше, чем за последние десять лет. Он чуть не умер, был спасён, накормлен и получил новое имя. И где-то в глубине души, в том самом месте, которое всегда тосковало по дороге, он чувствовал странное, пугающее и в то же время радостное предчувствие. Его рейс только начинался. И этот рейс обещал быть самым длинным в его жизни. Самым опасным. И самым главным.

Глава 6. Караван.

Трое суток Григорий провёл в палатке, набираясь сил. Эла заходила регулярно — приносила воду, похлёбку, меняла повязки на его израненных солью руках. Она была немногословна, но каждое её слово, каждый жест были наполнены каким-то спокойным, уверенным знанием. Она обрабатывала его раны мазью из соляных трав — терпкой, пахнувшей чем-то отдалённо напоминающим шалфей, — и её пальцы, грубые и мозолистые, двигались с удивительной нежностью. Григорий ловил себя на том, что ждёт её приходов. Не только потому, что она приносила еду и воду, а потому, что с ней в палатку входил запах дыма, кожи и далёкого, горячего ветра. Запах настоящей жизни.

На утро четвёртого дня он впервые вышел наружу.

Зрелище, открывшееся ему, поразило его до глубины души. Это был не просто лагерь. Это был целый передвижной город, раскинувшийся на твёрдой, спекшейся глиняной площадке посреди бескрайнего соляного моря. Около ста человек — мужчины, женщины, дети, — одетые в длинные, до пят, белые балахоны с глубокими капюшонами, закрывающими лица от солнца. Одежда была простой, но практичной: свободный покрой позволял воздуху циркулировать, а плотная ткань защищала от палящих лучей и вездесущей соляной пыли. Женщины отличались от мужчин яркими, искусными вышивками на рукавах и подолах — синими, красными, зелёными нитями, которые в этом монохромном мире казались вызывающей роскошью.

Лагерь жил своей, размеренной жизнью. В центре, на небольшом возвышении, стоял самый большой шатёр — очевидно, жилище старейшины Хасима. Вокруг него, концентрическими кругами, расходились повозки. Их было около двадцати — массивные, двухколёсные, сколоченные из тёмного, почти чёрного дерева, с высокими бортами и натянутыми поверх тентами из той же грубой ткани, что и палатки. На повозках лежал скarb: тюки с товарами, бурдюки с водой, инструменты, оружие — короткие, изогнутые клинки, которые здесь называли «соляными ножами», и длинные, лёгкие копья.

Но самое сильное впечатление на Григория произвели животные.

Соляные волы. Огромные, медлительные создания, каждое размером с небольшой грузовик. Их толстая, морщинистая шкура была серовато-белого цвета, под цвет окружающей пустыни, и блестела на солнце, словно покрытая соляной коркой. Ноги — мощные, столбообразные, с широкими, плоскими копытами, которые не проваливались в рыхлую соль, а уверенно держали вес животного и груза. На спине у них возвышались два горба, но, в отличие от верблюжьих, они свисали набок, наполненные какой-то студенистой массой. Эла потом объяснила, что в этих горбах волы хранят не жир, а воду — точнее, особый гель, который при необходимости расщепляется на воду и питательные вещества. Благодаря этому вол мог идти без водопоя до двадцати дней.

Морды у волов были странными, почти птичьими: маленькие, глубоко посаженные глаза, длинные ресницы, защищающие от соли, и широкие, плоские ноздри, которыми они постоянно втягивали воздух. От них исходил сильный, мускусный запах, смешанный с запахом соли и сухого помёта. Они мерно пережёвывали жвачку — сухие, колючие соляные водоросли, единственную растительность, которая росла в этом мире, — и смотрели на суетящихся вокруг людей с выражением бесконечного, философского спокойствия.

Григорий стоял у входа в свою палатку, одетый в чужую, выданную ему Элой хламиду, и чувствовал себя абсолютно голым и беспомощным. Он, бывший дальнобойщик, человек, который провёл за рулём больше времени, чем на ногах, здесь был никем. Младенцем. Он не знал правил. Не знал языка (хотя странным образом понимал его). Не знал, как подойти к волю, как привязать повозку, как разжечь огонь из соляных кристаллов.

Люди каравана смотрели на него. Он чувствовал их взгляды кожей. Взгляды были разными. Дети смотрели с открытым, бесцеремонным любопытством, показывая на него пальцами и перешёптываясь. Женщины — с настороженностью, прикрывая лица платками и отворачиваясь, когда он пытался встретиться с ними глазами. Мужчины — с угрюмой, тяжёлой подозрительностью. Они не знали, что с ним делать. Он был чужаком. Аномалией. Потенциальной угрозой.

Особенно выделялся один. Молодой, лет двадцати пяти, с резкими, хищными чертами лица и тремя параллельными шрамами на левой щеке — ритуальными отметинами, значение которых Григорий ещё не знал. Он стоял, прислонившись к колесу одной из повозок, и сверлил Григория тяжёлым, немигающим взглядом. В этом взгляде не было простого любопытства. Была неприкрытая враждебность. Он словно оценивал чужака, прикидывая, насколько тот опасен. Или насколько бесполезен.

Эла, заметившая его смущение, подошла и встала рядом.

— Это Тарек, — тихо сказала она, кивнув в сторону молодого мужчины. — Охотник. Один из лучших. Но злой, как раненый соляной вол. Не обращай на него внимания.

— Что ему от меня нужно? — спросил Григорий, не отводя взгляда от Тарека.

— Ему не нужен ты, — ответила Эла. — Ему нужно, чтобы всё шло, как заведено. Ты — новое. Ты нарушил привычный ход вещей. Он этого не любит. Кроме того, — она сделала паузу, — он мой жених.

Григорий резко повернулся к ней.

— Жених?

— Бывший, — уточнила Эла, и в её голосе прозвучала сталь. — Он был им. До того, как я поняла, что он любит не меня, а моё положение. Род водоносок — один из древнейших. Брак со мной дал бы ему власть. Но я отказала. Он не простил. И теперь любой, кто оказывается рядом со мной, вызывает его ревность. Даже умирающий старик-чужак. Так что будь осторожен. Не ходи один. Особенно ночью. Тарек мстителен.

Григорий снова посмотрел на Тарека. Тот, поймав его взгляд, усмехнулся — медленной, недоброй усмешкой, обнажившей жёлтые от соли зубы, — и провёл большим пальцем по горлу. Жест был красноречивее любых слов.

— Весело тут у вас, — пробормотал Григорий.

— Это Солончак, — пожала плечами Эла. — Здесь всё просто. Любишь — скажи. Ненавидишь — скажи. Хочешь убить — убей, но будь готов, что убьют тебя. Мы не играем в игры. Игры — это для тех, у кого много воды и времени. У нас нет ни того, ни другого.

Она взяла его за рукав и повела через лагерь. По пути она объясняла устройство каравана. Он был организован как сложный, живой организм. Во главе стоял старейшина Хасим — аксакал, чьё слово было законом. Под ним — совет стариков, которые решали споры и судили провинившихся. Дальше шли водоносы — элита каравана, те, кто умел находить и хранить воду. К ним принадлежала и Эла. Затем — охотники и воины, защищавшие караван от соляных пиратов и диких зверей. Тарек был среди них. Ещё ниже — погонщики волов, ремесленники, лекари, повара. И в самом низу — пассажиры, случайные путники, которых караван подбирал в пути.

— Ты сейчас — пассажир, — сказала Эла. — Но если хочешь выжить и стать своим, ты должен найти себе место. Должен стать полезным. Никто не будет кормить тебя просто так. Вода кончается. Еды мало. Каждый лишний рот — это угроза для всех.

— Я понимаю, — кивнул Григорий. — Я хочу учиться.

— Завтра начнём, — пообещала она. — А пока смотри. Слушай. Запоминай. Солончак говорит с теми, кто умеет слушать.

Они подошли к загону с волами. Животные стояли тесной группой, привязанные к вбитым в соль кольям. Рядом, на перевёрнутой бочке, сидел старик с морщинистым, как печёное яблоко, лицом. Он был настолько стар, что его руки, лежавшие на коленях, казались высохшими ветками. Но глаза его — выцветшие, голубоватые — были живыми и цепкими.

— Это Орсо, — представила его Эла. — Главный погонщик. Он знает волов лучше, чем людей. Если хочешь быть полезным, начни с него. Помоги ему чистить загоны, носить корм. Работа грязная, но почётная. Волы — это наша жизнь. Без них мы никто.

— Орсо, — Григорий склонил голову в неуклюжем подобии местного приветствия. — Я Гри... Седой. Я хочу помогать.

Старик окинул его долгим, оценивающим взглядом. Потом сплюнул в соль и хмыкнул:

— Чужак. Руки мягкие. Спина прямая. Много не наработаешь. Но... — он покосился на Элу, — если водоноска просит, я не откажу. Будешь чистить навоз. Посмотрим, на сколько тебя хватит.

Эла улыбнулась уголками губ и пошла дальше. Григорий последовал за ней.

— Почему он согласился? — спросил он. — Из-за тебя?

— Из-за меня, — подтвердила Эла. — И из-за того, что ты назвался Седым. Седые волосы здесь — редкость. Это знак. Никто не знает, добрый или злой, но все предпочитают быть осторожными. Пока они не поймут, кто ты такой, тебя не тронут. Но и не помогут. Будут ждать. Наблюдать.

Она провела его мимо рядов повозок, показывая, где что находится. Кухня — несколько больших котлов, подвешенных над очагами, в которых жгли сухой соляной мох. Оружейная палатка — там ковали и точили ножи. Лекарская палатка — оттуда пахло травами и доносился слабый стон больного. Всё это было так непохоже на привычный ему мир, но в то же время странно знакомо. Этот лагерь, эта иерархия, эта постоянная борьба за жизнь напоминали ему армейскую службу, которую он проходил ещё в молодости, в стройбате. Тот же суровый коллектив, где каждый на виду, где слабость не прощают, а силу уважают.

К вечеру, когда солнце начало клониться к горизонту, окрашивая белую пустыню в фантастические оттенки розового, оранжевого и лилового, караван начал готовиться к переходу. Эла объяснила, что днём они отдыхают, пережидая самую сильную жару, а идут ночью, ориентируясь по звёздам. Григорий смотрел, как погонщики запрягают волов, как женщины сворачивают палатки, как охотники проверяют оружие, и чувствовал себя так, словно попал в документальный фильм о жизни древних кочевников. Только фильм этот был в формате 3D, с полным погружением, включая запахи, звуки и вкус соли на губах.

Ночью караван выступил. Григорий шёл пешком рядом с повозкой, стараясь не отставать. Ноги, ещё не до конца зажившие после ран, ныли. Но он терпел. Он смотрел вперёд, на бескрайнюю, убегающую за горизонт белую равнину, освещённую светом двух лун — большой, серебристой, и маленькой, красноватой, висящей низко над горизонтом, — и думал о том, что никогда в жизни не видел такой красоты. И такого ужаса.

Где-то там, впереди, лежал оазис Айн. Место, где была вода, зелень и жизнь. Место, куда они должны были добраться во что бы то ни стало. Место, где его, возможно, ждала его судьба. Или смерть. В этом мире разницы между ними почти не было. И это, как ни странно, успокаивало.

Он поднял голову и посмотрел на звёзды. Они были чужими. Созвездия незнакомые, резкие, угловатые, совсем не те, что он привык видеть над российскими трассами. Но среди них он заметил одно, показавшееся смутно знакомым. Четыре звезды, образующие почти правильный ромб. Он где-то видел это. На карте. На той самой карте, что привела его сюда. Роза ветров с двенадцатью лучами. Двенадцать направлений. И одно из них — «Домой».

Он ещё не знал, что эти звёзды станут его единственными верными спутниками в долгие годы странствий. Что он научится читать их, как открытую книгу. Что по ним он будет вести караваны через гибельные участки, спасая сотни жизней. Что когда-нибудь, много лет спустя, он умрёт, глядя на эти самые звёзды, и улыбнётся, потому что будет знать: он прошёл свой путь до конца.

Но это всё было впереди. А пока он был просто Седой. Чужак. Пассажир. Человек без прошлого и с очень туманным будущим. И единственное, что у него было, — это жгучее, неутолимое желание выжить и понять, зачем он здесь.

Караван шёл сквозь ночь. Хруст соли под колёсами, мерный шаг волов, звон колокольчиков на упряжи — эти звуки убаюкивали, вводили в транс. Григорий шагал и шагал, глядя в спину идущего впереди погонщика, и впервые за много лет чувствовал себя не лишним. Не нужным — до этого ещё далеко. Но уже не лишним. Он был частью чего-то. Частью этого медленного, упрямого, невозможного движения вперёд. И это было самое лучшее чувство в его жизни.

Глава 7. Чужак.

Прошла неделя. Для Григория она растянулась в вечность.

Каждый день был похож на предыдущий, как две капли воды — того самого драгоценного ресурса, которого в этом мире катастрофически не хватало. Подъём на рассвете, когда небо только начинало светлеть, окрашиваясь в бледно-розовые и серые тона. Скучный завтрак — кусок солёной лепёшки, твёрдой, как подмётка, и несколько глотков тёплой, отдающей бурдюком воды. Потом — работа. Тяжёлая, грязная, унижительная работа, которую ему поручал старый Орсо.

Он чистил загоны для волов. Сгребал лопатой их сухой, рассыпчатый помёт, смешанный с солью, и грузил в плетёные корзины. Помёт потом сушили и использовали как топливо для костров. Запах стоял невыносимый — кислый, едкий, он въедался в одежду, в кожу, в волосы. Григорий, который когда-то брезговал немытой кружкой, теперь месил этот навоз голыми руками и почти не замечал вони. Почти. Иногда его подташнивало, но он сглатывал желчь и продолжал работать.

Он таскал воду. Не ту, что пили — ту, что шла на технические нужды: мытьё посуды, уход за больными волами, стирку бинтов в лекарской палатке. Воду носили в кожаных вёдрах от главной цистерны — огромного, смолёного бурдюка, который везли на отдельной повозке и охраняли двое вооружённых охотников. Каждое ведро нужно было нести осторожно, не расплескав ни капли. За расплёсканную воду наказывали — урезали и без того скудный паёк. Григорий научился ходить плавно, размеренно, глядя под ноги, как ходят все водоносы. Его спина ныла, руки дрожали от напряжения, но он ни разу не пролил ни капли.

Он помогал на кухне. Чистил соляные корни — уродливые, узловатые клубни, которые росли глубоко под соляной коркой, в тех редких местах, где подземные воды подходили близко к поверхности. Их нужно было скоблить грубым ножом, снимая горькую, ядовитую кожуру. Если почистить плохо — отравится весь караван. Ответственность давила, но Григорий делал свою работу тщательно, методично, как привык делать всё в жизни. Повариха, грузная, молчаливая женщина по имени Наира, сначала относилась к нему с откровенной враждебностью, но к концу недели уже не швыряла ему корни, а передавала из рук в руки. Это была маленькая, но победа.

И всё это время он чувствовал на себе взгляды.

Караванщики не принимали его. Они не говорили с ним — только отдавали короткие, рубленные приказы. Они не смотрели ему в глаза — отводили взгляд, словно он был прокажённым. Они сторонились его у костра, оставляя ему место с краю, где ветер задувал дым прямо в лицо. Он был чужим. Белой вороной. Пылью на ветру.

Дети, впрочем, были не так сдержанны, как взрослые. Они бегали за ним стайкой, выкрикивая обидные прозвища: «Мягкие руки!», «Соляной червь!», «Безродный!». Григорий не понимал и половины слов, но смысл улавливал безошибочно. Он не злился. Дети везде одинаковы — жестоки и любопытны одновременно. Иногда он пытался улыбнуться им, но они разбегались с визгом, как от прокажённого.

Хуже всех был Тарек. Он не упускал случая задеть чужака. То проходя мимо, «случайно» толкал плечом так, что Григорий летел в соль. То опрокидывал ведро с водой, которое Григорий только что наполнил, и потом стоял, ухмыляясь, глядя, как драгоценная влага впитывается в сухую землю.

— Смотри под ноги, старик, — цедил он сквозь зубы. — Здесь не твои мягкие дороги. Здесь Солончак. Он не прощает ошибок.

Григорий молча поднимался, отряхивался и шёл за новым ведром. Он понимал: отвечать — значит дать повод для драки. А драку с Тарексом он не выиграет. Тот был моложе, сильнее и вооружён. Оставалось только терпеть. Терпеть и ждать.

Однажды вечером, после особенно тяжёлого дня, когда Тарек дважды опрокинул его вёдра и под смех своих приятелей обозвал «старым, бесполезным мешком с костями», Григорий сидел в стороне от общего костра и смотрел на свои руки. Они были в мозолях. В ссадинах. В соляных ожогах. Кожа потрескалась, ногти обломались. Он с трудом сжимал пальцы в кулак.

К нему подошла Эла. Села рядом, молча взяла его ладонь и начала втирать в неё какую-то мазь. Пальцы у неё были прохладными и уверенными.

— Зачем ты это делаешь? — спросил Григорий, не отнимая руки. — Тратишь на меня мазь, время. Ты водоноска. Ты могла бы просто игнорировать меня, как все.

— Я уже говорила, — ответила она, не поднимая глаз. — Ты — загадка. Я хочу понять тебя.

— Во мне нет загадки, — горько усмехнулся Григорий. — Я просто старик из другого мира. Бесполезный. Слабый. Неумелый. Тарек прав.

Эла перестала втирать мазь и подняла на него глаза. В свете костра они казались совсем чёрными, но где-то в глубине плясали золотые огоньки.

— Тарек зол не на тебя, — сказала она. — Он зол на себя. На меня. На весь мир. Ты просто попался под руку. Но ты не должен верить ему. Ты не бесполезен. Ты просто ещё не нашёл себя.

— Я дальнотойщик, — сказал Григорий, и слово это прозвучало чуждо и неуместно в этом мире соли и верблюжьих караванов. — Я водил грузовики. Машины. Понимаешь? Я сидел за рулём и крутил баранку. Что мне делать здесь? Как мои навыки могут пригодиться в пустыне?

Эла нахмурилась. Она не поняла слов «грузовик» и «баранка», но уловила суть.

— Ты водил? — переспросила она. — Ты был Проводником? Вёл других?

— Ну... да. Можно и так сказать. Я вёл машину, а в кузове был груз. Иногда — пассажиры. Я отвечал за то, чтобы доставить их из точки А в точку Б. Быстро. Безопасно.

— Точка А в точку Б, — медленно повторила Эла, словно пробуя слова на вкус. — Ты знаешь маршруты? Ты умеешь находить путь?

— У меня были карты, — сказал Григорий. — Атласы. Я прокладывал маршруты. Знал, где объехать пробку, где опасный поворот, где лучше заправиться. Я чувствовал дорогу.

Эла долго смотрела на него, и в её глазах читалась напряжённая работа мысли. Потом она вдруг спросила:

— А ты можешь чувствовать воду?

Григорий опешил.

— Что?

— Воду, — повторила она. — Под землёй. Ты можешь знать, где она, не видя её? Как ты знал, где опасный поворот?

— Я не... — он хотел сказать «не знаю», но осёкся. Он вспомнил карту. То ощущение тепла, когда он провёл пальцем по линии маршрута. То чувство узнавания, которое накрыло его в пустыне, перед тем как он потерял сознание. Словно он знал этот мир. Словно он был здесь когда-то. — Я не уверен. Но, может быть...

Эла встала.

— Завтра, — сказала она. — Завтра я возьму тебя с собой на поиски воды. Посмотрим, на что ты способен, Седой. И если ты действительно можешь чувствовать воду... тогда ты не бесполезен. Тогда ты — дар Солончака.

Она ушла, а Григорий остался сидеть у костра, глядя на пляшущие языки пламени. Его руки всё ещё пахли мазью — терпкой, горьковатой, как полынь. Он сжимал и разжимал кулаки, чувствуя, как по венам разливается странное, давно забытое чувство. Предвкушение. Надежда.

На следующее утро, ещё до рассвета, Эла разбудила его. Они вышли из лагеря вдвоём, взяв с собой только лёгкий бурдюк с водой и соляной нож. Тарек, стоявший в карауле, проводил их долгим, ненавидящим взглядом, но ничего не сказал.

Они шли молча около часа, удаляясь от лагеря вглубь белой равнины. Солнце ещё не взошло, но небо уже светлело, и соляная корка под ногами начинала искриться в предрассветных сумерках. Было холодно — ночная прохлада ещё не уступила место дневному зною. Пахло солью и какой-то далёкой, едва уловимой влагой.

— Здесь, — сказала Эла, останавливаясь у небольшой впадины, окружённой невысокими соляными гребнями. — Это Старое Русло. Здесь когда-то текла река. Очень давно. Теперь вода ушла глубоко, но иногда её можно найти. Закрой глаза.

Григорий подчинился. Он стоял, чувствуя, как холодный ветер обдувает лицо, как соль хрустит под ногами, как где-то далеко кричит какая-то птица — странный, гортанный звук, не похожий ни на что земное.

— Не слушай ушами, — голос Элы звучал тихо, почти как шёпот. — Слушай нутром. Вода поёт под землёй. Она движется, дышит. У неё есть ритм. Найди его. Почувствуй.

Григорий попытался. Сначала он ничего не чувствовал — только ветер, только соль, только стук собственного сердца. Но потом он сделал то, что всегда делал в тумане на трассе: перестал думать и доверился ощущениям. Он представил, что он — в кабине грузовика. Что двигатель гудит, а он, положив руку на руль, чувствует вибрацию дороги. Где-то там, впереди, — поворот. Где-то там — яма. Где-то там — мокрая полоса после дождя.

И вдруг он почувствовал. Не под собой — левее. Там, где соляной гребень отбрасывал длинную, голубоватую тень. Там была прохлада. Не та, что от ветра, а другая — глубинная, влажная, живая. Она пульсировала, как подземное сердце.

— Там, — сказал он, открывая глаза и указывая рукой. — Там вода.

Эла посмотрела на него с сомнением.

— Там всегда было сухо. Никто не копал там.

— Я знаю, — Григорий сам не понимал, откуда взялась эта уверенность. — Но вода там. Глубже, чем обычно. Но есть.

Эла поколебалась мгновение, потом кивнула. Они подошли к месту. Григорий взял нож, опустил на колени и начал копать. Соляная корка была твёрдой, как бетон. Нож скрежетал, крошился, но Григорий копал. С него градом катился пот. Руки ныли. Но он копал. Потому что знал. Знал так же твёрдо, как знал когда-то, что за тем поворотом — пост ГАИ, а за этим — уютная шашлычная, где можно выпить горячего чая.

Через полчаса нож ушёл вглубь с чавкающим звуком. Григорий замер. Потом осторожно вытащил лезвие. На металле блестела влага. Он опустил руку в ямку — пальцы коснулись чего-то мокрого, прохладного.

— Вода, — прошептал он.

Эла, стоявшая рядом, опустилась на колени. Она зачерпнула горсть влажной соли, поднесла к лицу, вдохнула. Потом посмотрела на Григория. В её глазах было изумление. И что-то ещё — благоговейный трепет.

— Ты нашёл её, — сказала она. — Седой, ты нашёл воду там, где её не было. Ты не просто путник. Ты... ты Проводник.

— Что это значит? — спросил Григорий, всё ещё стоя на коленях, с мокрыми от соли руками.

— Это значит, — медленно проговорила Эла, — что пустыня приняла тебя. Она дала тебе дар. Дар видеть то, что скрыто. Такие, как ты, рождаются раз в столетие. Легенды о тебе будут петь у костров, когда твои кости уже превратятся в соль.

Григорий хотел возразить, сказать, что он просто почувствовал, просто догадался. Но он не сказал ничего. Потому что в глубине души он знал: Эла права. С ним что-то произошло. Что-то изменилось. Он больше не был просто чужаком. Он был кем-то другим. Кем — он ещё не понимал. Но впервые за долгое время он чувствовал не страх и не отчаяние. Он чувствовал, что он — на своём месте.

Они возвращались в лагерь молча. У входа их встретил Тарек. Он посмотрел на перепачканную солью одежду Григория, на мокрый нож в его руке, на странное выражение лица Элы — и всё понял.

— Ну, чужак, — процедил он, и его рука легла на рукоять соляного ножа. — Похоже, ты решил задержаться у нас. Что ж, посмотрим, надолго ли.

И он ушёл, а Григорий стоял и смотрел ему вслед, чувствуя, как внутри зарождается что-то новое. Не гордость. Не злость. А спокойная, уверенная сила. Сила человека, который знает, что он нужен. Что у него есть дар. И что он будет бороться за своё место под этим чужим, огромным, белым солнцем.

Глава 8. Карта.

Весть о том, что чужак нашёл воду там, где её никогда не было, облетела караван быстрее, чем соляная буря. К тому моменту, когда Григорий и Эла вернулись в лагерь, у крайних повозок уже собралась небольшая толпа. Люди перешёптывались, глядя на перепачканного солью старика с мокрым ножом в руке. В их взглядах читалась сложная смесь эмоций — удивление, недоверие, страх и где-то глубоко, едва заметно, проблески надежды. Вода была найдена всего в часе ходьбы от лагеря, а это означало, что караван сможет пополнить запасы, не делая крюк к далёкому оазису. Это означало лишние дни пути. Лишние дни жизни.

Но Григорий почти не замечал этих взглядов. Он был погружён в себя, в странное, звенящее ощущение, которое всё ещё пульсировало где-то в солнечном сплетении. Это было похоже на эхо — затихающее, но всё ещё различимое. Эхо того чувства, которое он испытал там, у Старого Русла, когда его пальцы коснулись влажной соли. Чувства абсолютной, непоколебимой уверенности. Он знал, где вода. Знал так же твёрдо, как знал когда-то, что двигатель его фуры работает исправно, просто по звуку, по едва уловимой вибрации, которую не различил бы никто, кроме него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.